

„Есть бытие...“

19 февраля исполнилось 200 лет со дня рождения Е. А. Баратынского

Примерно к середине 20-х годов XIX столетия Пушкин начнёт борьбу за русскую прозу, за русскую критику, за то, что он называет „метафизическим языком“, за „точность языка“, по его выражению: „Метафизического языка у нас просто не существует. Просвещение века требует важных предметов размышления для пищи умов, которые уже не могут



Е.А. Баратынский. Литография Шевалье.
Начало 1820-х.

довольствоваться блестящими играми воображения и гармонии, но учёность, политика и философия ещё по-русски не изъяснялась“. В разное время Пушкин видел в роли создателей русской прозы и русского метафизического языка и Жуковского, и Вяземского, и Катенина, а в сущности сам им стал, да ещё и предугадал направление словесности 30-х годов: проза в собственном смысле слова — от „Повестей Белкина“ до „Мёртвых душ“, „метафизический язык“ (критика — Надеждин, Белинский; история и теория литературы — Шевырёв; „русская мысль“ — Киреевский, Чаадаев, Хомяков).

„Да, проза, проза и проза“, — писал Белинский, утверждая, что с 1829 г. все писатели набросились „на прозу“, а „цена на стихи вдруг упала“. Но не те стихи, что участвовали в борьбе за становление русского „метафизического языка“, и в заметке о Баратынском Пушкин пишет: „Поэт

наш создал совершенно свободный язык и выразил на нём все оттенки своей метафизики“.

Рождённый годом позже Пушкина, Баратынский был чуть старше В.Одоевского и Хомякова, Веневитинова, Шевырёва и Киреевского, тех „любомудров“ в стихах и прозе, включая учёную и философскую, чьими усилиями (включая и одинокого Тютчева, конечно) и образовался „русский метафизический язык“, героический период русской мысли.

Конечно, Баратынский не одинок в своих исканиях синтеза поэзии и философии (достаточно назвать Шевырёва с такими его стихотворениями, как „Мысль“, „Мудрость“ или „31 декабря“), но именно Баратынскому довелось добиться признания как „философского поэта“ едва ли не впервые, именно у него Пушкин выделил то, что поэт соединил „метафизику и поэзию“, что „никто более Баратынского не имеет чувства в своих мыслях и вкуса в своих чувствах“. Надо сказать, что „философским поэтом“ Баратынский стал отнюдь не сразу: ни образование, ни склад ума, ни бурное начало жизни отнюдь не предполагали в нём его зрелую лирику. Ещё в начале 1826 г. он писал Пушкину: „Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это, или худо: я читал Канта и признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков... Впрочем, какое в том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову“. Спустя пять лет он писал П.Плетнёву: „Мне жаль, что ты оставил искусство, которое лучше всякой философии утешает нас в печалях жизни“.

В сборнике стихов Баратынского 1827 г., носящего следы „разгульной юности“ и прощания с ней („Простите, ветреные други“, „Пора покинуть, милый друг, / Знамёна ветреной Киприды“) в сочетании с мотивами умудрённого страдания: „Разлука“ (1820),

К-ну („Поверь, мой милый друг, страданье нужно нам, / Не испытай его, нельзя понять и счастья“; 1820), знаменитое благодаря романсу Глинки „Разуверение“ („Не искушай меня без нужды“; 1821), — наиболее значительна, конечно, элегия „Признание“ (1823), по праву названная Пушкиным „совершенством“. Достигая афористической точности языка („вполне упоевает / Нас только первая любовь“), поэт переводит традиционную для элегии тему любовного разрыва в философский план:

Прощай! Мы долго шли дорогою одною;
Путь новый я избрал, путь новый избери;
Печаль бесплодную рассудком усмири
И не вступай, молю, в напрасный суд со мною.
Невластны мы в самих себе
И, в молодые наши леты,
Даём поспешные обеты,
Смешные, может быть, всевидящей судьбе.

„Новый путь“ ещё только брезжит перед Баратынским. В послании к поэту XVIII века Богдановичу Баратынский дважды называет автора „Душеньки“ „философ мой“, в заключительной строфе появляются с возросшей частотой „мудрость“, „мысль“, „ум“:

А я, владеющий убогим дарованьем,
Но рвением горя полезным быть и им,
Я правды красоту даю стихам моим,
Желаю доказать людских сует ничтожность
И хладной мудрости высокую возможность.
Что мыслю, то пишу. Когда-то веселей
Я славил на заре своих цветущих дней
Законы сладкие любви и наслажденья.
Другие времена, другие вдохновенья;
Теперь важней мой ум, зрелее мысль моя.

„Хладной мудрости высокую возможность“ и показал зрелый Баратынский. Через несколько лет в стихотворении „В альбом“, обращённом к Каролине Павловой, Баратынский именуется философом — „философ я“, — правда, с характерной для него самоиронией („у вас в глазах / Мое ничтожество я знаю“), сказавшейся в его наиболее известных стихах, сложившихся в своеобразное „искусство поэзии“ в стихотворениях „Мой дар убог..“ и „Муза“:

Мой дар убог, и голос мой не громок,
Но я живу, и на земле мое
Кому-нибудь любезно бытие:
В моих стихах; как знать? душа моя
Окажется с душой его в сношеньи,
И как нашёл я друга в поколеньи,
Читателя найду в потомстве я.
Не ослеплён я музою моею:
Красавицей её не назовут,
И юноши, узрев её, за нею
Влюблённою толпой не побегут.
Приманивать изысканным убором,

Игрою глаз, блестящим разговором
Ни склонности у ней, ни дара нет;
Но поражён бывает мельком свет
Её лица необщим выраженьем,
Её речей спокойной простотой;
И он, скорей чем едким осужденье,
Её почитит небрежной похвалой.

Показательно, что в стихотворении „На смерть Гёте“ (1832) Баратынский оценил и то, что „На всё отозвался он сердцем своим, / Что просит у сердца ответа“, и то, что „Крылатою мыслью он мир облетел / В одном беспредельном нашёл он предел“.

„Апофеозом всей поэзии“ Баратынского Белинский полагал „Последнюю смерть“ (1827), начинающуюся прямо как философский трактат:

Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье.

И, взяв эту первую „философскую ноту“, поэт держит её восемь строф-двенадцати-стиший: „Вот, мыслил я, прельщённый дивным веком, / Вот разума великолепный пир“; „наставшую эпоху я с трудом / Постигнуть мог смутившимся умом“; „И умственной природе уступила / Телесная природа между них: / Их в эмпирей и в хаос уносила / Живая мысль на крыльях своих“.

Бытие (слово не такое уж „поэтическое“, но „философское“ и „богословское“) встречается у Баратынского и в стихотворении „Две доли“ (1823), и в „Буре“ (1824), и в „Отрывке“ („Так, есть другое бытие“; 1831), и в предваряющем последний сборник Баратынского „Сумерки“ стихотворении „Князю Петру Андреевичу Вяземскому“ (1834), и в „Недоноске“ (1835), и — дважды! — в итоговой „Осени“ (1836-1837).

В то же время зрелый Баратынский, посвящая стихи мысли („О мысль! Тебе удел цветка“; 1834; „Всё мысль да мысль! Художник бедный слова!“; 1840), подходит и к иным рубежам.

Д. Святополк-Мирский писал в феврале 1934 г.: „Стоит в этой связи остановиться на отношении Баратынского к религии. Его друзья по „Европейцу“, дворяне-шеллингианцы конца 20 — начала 30-х годов в это время в ударном порядке возвращались в лоно церкви. Религия, и притом в форме ортодоксального православия, лишь слегка подкрашенного романтической фразеологией, была необходимым элементом реакционных течений этого времени. Что Баратынского тянуло к религии, не подлежит сомнению“.

Идя тем же путём, что и его упоминавшиеся в статье сверстники, Баратынский незадолго до смерти (1844) написал „Молитву“:

Царь небес! Успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвеньё пошли,
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай...

БОРИС ЛЮБИМОВ, Москва
„Русская мысль“, Париж,
№ 4308, 09 марта 2000 г.